

АЛЕКСАНДР ЛАДОГИН

..C..
ЛУННЫЙ ДОЛГ
КНИГА ТРЕТЬЯ



Под
Колпаком

Александр Ладогин

Под колпаком

<https://litres.ru/74651979>

SelfPub; 2026

Аннотация

Полковник контрразведки Дмитрий Корсаков оказался в Петербурге 1906 года.

Теперь вслед за ним через сто лет шагнул его сын.

И застрял рядом с отцом — в городе, где у него нет ни документов, ни прошлого, ни права на ошибку.

Впереди — взрывы, политические убийства и борьба за власть. Корсаков знает, что произойдёт.

Но знание истории не спасает тех, кто стоит рядом.

За ним следит охранное отделение. Его приближают к императорскому двору. Из будущего приходят приказы, которым он больше не уверен, что должен подчиняться. И чем отчаяннее он пытается защитить сына, тем теснее становится невидимая ловушка.

Кто распоряжается его судьбой? И какую цену придётся заплатить, чтобы впервые принять решение самому?

«Под колпаком» — третья книга историко-фантастического цикла «Лунный долг».

Петербург на изломе эпох, разведывательная интрига и история отца и сына, которым предстоит решить, где их дом — и кому принадлежит их жизнь.

Содержание

Глава первая. Утро	5
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Александр Ладогин

Под колпаком

Глава первая. Утро

I

Знаменская улица, флигель. 26 апреля 1906 года, утро.

Слово «самому» ещё стояло во флигеле, как стоит в комнате запах только что задутый свечи, а Корсаков уже знал, что сделает дальше, и это знание ему не понравилось.

Тело решило раньше головы. Двадцать лет его учили, а потом он сам учил других: первый час после возвращения человека «оттуда» стоит дороже всех следующих суток. В первый час память ещё сырая, неприбранная, в ней лежат подробности, которых вернувшийся сам не считает важными: цвет машины, слово, сказанное мимоходом, свет в чужом окне. Через сутки он их рассортирует, через неделю расскажет связную историю, а связная история всегда беднее того, что было. Поэтому вернувшегося не кормят, не хлопают по плечу и не дают ему выспаться. Его сажают и спрашивают.

Корсаков поставил жестянку на стол рядом с таблицей Лузгина, придвинул табурет и сел напротив сына. Положил ладони на колени.

— Сядь. — Корсаков кивнул на лавку. — По порядку. Кто тебя видел на той стороне, кроме Валеры?

Илья посмотрел на него. Сел не сразу: сначала привалился плечом к стене, потом передумал и сел прямо, как садятся в кабинете у завуча.

— Никто. Ночь же. Собака видела.

— Машины во дворе?

— Серебристая. Под аркой. Она там всегда стоит.

— Номер.

— Пап, ты серьёзно?

— Номер, Илья.

— Не помню я номер. Иномарка какая-то. — Он дёрнул плечом. — В доме кто-то не спал, на третьем. Телик синим мигал.

Третий этаж, телевизор. Тот же, что в декабре. Кто-то в той квартире не спал по ночам уже полгода, это ничего не значило, и Корсаков всё равно это запомнил, потому что запоминать было легче, чем смотреть сыну в лицо.

— Что сказал Валера? Слово в слово.

— Ну что дед врёт. Что ты тут. Что, типа, давай подсажу, а то до утра простоим. Ещё сказал: «Батьке привет».

— Дед. Когда ты видел его последний раз?

— В марте. У метро, на «Соколе». — Илья смотрел в стол, на разлинованный лист с графами, которых не понимал. — Сказал, типа, мне туда нельзя. Отец сам решит когда. И ушёл.

— Пешком? Сел в машину?

— Пап.

— Пешком или в машину?

— Да не смотрел я! — Илья вскинул голову. — Я, типа, не знал, что надо смотреть.

Корсаков кивнул: ответ принят, следующий пункт.

— Рюкзак.

Илья подтянул к себе рюкзак с кровати, расстегнул и вытряхнул на стол не глядя, как вытряхивают мусор.

Плеер, белый, плоский, с наушниками, намотанными на него восьмёркой. Зарядка с вилкой, бесполезная здесь, как ключ от дома, которого ещё не построили. Две мятые сторублёвки с квадригой Большого театра и горсть мелочи. Пачка жвачки. Пластиковая бутылка, наполовину пустая. Карманный фонарик. Шерстяные носки, свёрнутые комом. Свёрток в фольге, от которого пахло колбасой: из трёх бутербродов в нём оставалась половина одного. И красная книжечка паспорта.

Тишка на лавке перестал дышать. Он смотрел на фольгу. Фольга блестела как серебро, а мяли её как газету, и это, судя по его лицу, было самым поразительным из всего, что он увидел за ночь.

Корсаков взял паспорт и раскрыл. С фотографии на него смотрел четырнадцатилетний Илья, стриженный, испуганный вспышкой, с ещё детским подбородком. «Российская Федерация». «07.12.1989».

— Это я заберу.

— Это мой паспорт.

— Здесь это не паспорт. — Корсаков закрыл книжечку и убрал во внутренний карман, к удостоверению. — Здесь это улика. «Федерация». Тысяча девятьсот восемьдесят девятый год рождения. Первый же городской, который это откроет, повезёт тебя не в участок, а на Пряжку. К сумасшедшим.

— Кому ты говорил о том, куда едешь?

Илья не ответил. Он взялся за молнию куртки и повёл её вниз, потом вверх. Вниз. Вверх. Сухой мелкий треск в тихом флигеле.

Корсаков знал этот звук. В шесть лет так трещала молния на детском комбинезоне, когда Илья собирался признаться, что разбил бабушкину чашку. В десять, в прихожей на Соколе, в тот вечер, когда Ирина стояла в пальто и говорила «я так больше не могу», сын стоял рядом в куртке, застёгнутой до горла, водил молнию вверх и вниз, вверх и вниз, и молчал. Больше Корсаков этого звука не слышал. Шесть лет не слышал: по телефону молния не трещит.

Молния остановилась наверху.

— Пап, — сказал Илья. — Я не докладывать пришёл. Я тебя посмотреть пришёл.

Корсаков замолчал.

Он умел проверить любую историю. Знал, сколько вопросов нужно, чтобы человек сбился, если врёт, и сколько, чтобы вспомнил, если говорит правду. Знал, где переспросить,

где промолчать, когда положить на стол фотографию. Что говорить сыну, который прошёл сто лет, чтобы на него посмотреть, не было ни в одной методичке, ни в серой брошюре с кругом от кофейной чашки, над которой он смеялся в девяносто втором году.

Он убрал ладони с колен и посмотрел на них. Руки как руки. Он не знал, куда их деть.

— Тиша, – произнесла Лёля от двери. Голос у неё был будничным, утренний, каким говорят в доме, где ничего особенного не произошло. – Сбегай к Матрёне. Скажи, во флигель самовар. И хлеба.

Тишку сдуло с лавки вместе с букварём.

Лёля вошла и сняла серое пальто, повесила на гвоздь у двери, и Корсаков видел, как она тронула ладонью карман, где лежал сложенный вдвое третий лист: на месте ли. Потом повернулась к Илье.

— Куртку снимите. – Она кивнула на печь. – Здесь натоплено. Вы в ней с ночи.

Илья посмотрел на неё исподлобья. Потом неожиданно послушно расстегнул молнию до конца и стянул куртку.

Под курткой оказалась чёрная фуфайка с короткими рукавами, а на груди у неё белел огромный череп с крыльями и надпись латиницей, острыми буквами, похожими на колючую проволоку. В дверях ахнул Тишка, вернувшийся за шапкой, и перекрестился.

Лёля подошла ближе и рассмотрела череп внимательно,

без улыбки, с тем выражением, с каким разглядывала всё, что имело отношение к анатомии.

— Неправильный, – определила она. – Скуловых дуг нет. И нижняя челюсть приставлена к виску. У Йорика всё на месте.

— Это принт, – буркнул Илья.

— Что?

— Ну... картинка. Типа, для красоты.

— Для красоты, – повторила Лёля тем тоном, каким повторяла за профессором латинские названия. – Хорошо. – И повернулась к Корсакову: – А теперь вы, Дмитрий Сергеевич. Сапог.

— Лёля, не сейчас.

— Сейчас. Вы прыгнули с пролётки на ходу. На левую. Я видела.

Он стянул сапог. Она опустилась на колени у табурета, достала из саквояжа бинт и стала перевязывать лодыжку: туго, быстро, восьмёркой через пятку, не поднимая головы.

— Семьдесят на правую, тридцать на левую, – напомнила она. – Сколько раз повторять.

— Принято.

Илья смотрел. Не на бинт, на отца. На то, как отец, который в его памяти всегда стоял в дверях уходя, послушно держит ногу на весу и говорит «принято» девушке в сером платье, стоящей перед ним на коленях. В лице Ильи что-то сдвинулось и встало на новое место. Корсаков не понял что.

— Студентка, – бросил Илья куда-то в сторону. – Короче, врач.

— Почти, – отозвалась Лёля, затягивая узел. – Короче, третий курс.

Самовар принесла Дуняша. Чай пили молча. Илья держал стакан обеими руками, хотя подстаканник был горячим только снизу, и Корсаков видел, как у него чуть дрожат пальцы: так дрожат руки после долгой ночи на холоде, когда тело уже в тепле, а нервы ещё нет.

II

Знаменская улица, кабинет Велехова. 26 апреля 1906 года, десятый час утра.

Велехов уже был в сюртуке.

Парадный мундир с шитьём, орденами и шпагой исчез, как исчезает декорация после спектакля, и сенатор сидел за своим столом, где бумаги лежали стопками под прямым углом к краю, так, будто ночь во втором дворе на Пушкинской случилась не с ним. Только лицо было серее обычного, а на переносице, где пенсне за ночь натёрло кожу, краснела полоска.

— Господин Корсаков, – начал он. И остановился. Снял пенсне, посмотрел на стёкла, надел. – Дмитрий Сергеевич.

Корсаков сел. За тридцать восемь лет службы Велехов вряд ли хоть раз поправлял себя в обращении. Сегодня поправил.

— По пунктам, – продолжил Велехов. – Я не спал и по-

тому буду краток. Первое. Для дома. Илья Дмитриевич ваш сын от первого брака. Жил при матери в Гельсингфорсе. Приехал к отцу. Рос среди шведов, оттого по-русски говорит... — он искал слово, — своеобразно. Это объяснит всё, что нужно объяснить, и многое из того, чего объяснить нельзя.

— Благодарю.

— Не благодарите, я не закончил. Второе. Для улицы его нет. За ворота он не выходит. Ни в лавку, ни в церковь, ни на Знаменскую площадь поглядеть на конку. Жильцы соседнего флигеля увидят в окне высокого молодого человека — пусть видят, но не говорят с ним. Дворнику я скажу сам. Третье. Для полиции.

Пауза вышла длиннее, чем требовал счёт.

— Для полиции у меня ответа нет, — сказал Велехов. — Метрики нет. Вида на жительство нет. Ваш собственный паспорт выдан охранным отделением, и вписывать туда кого бы то ни было я бы не советовал: это значит пригласить охранное отделение к обеду. А подписывать задним числом прошение или выписку я не стану. Ни для кого. — Он посмотрел на Корсакова поверх пенсне. — Вы это знаете.

— Знаю.

— Значит, пока так. — Велехов повернул голову к окну.

На столике у окна, под зелёным абажуром, стояла фотография молодого лейтенанта с весёлыми глазами, а перед ней в маленькой вазочке три белых нарцисса.

— Спать он будет во флигеле. На антресолях есть походная кровать, Николай брал её в лагерь. Платье Николая Константиновича Прохор подберёт. Рукава будут короткие.

Он сказал это тем же сухим голосом, каким говорил о метрике, и не отвёл глаз от фотографии, пока не закончил фразу. Корсаков промолчал.

Прохора позвали звонком, по форме. Велехов полагал, что вводит нового человека в дом. Так полагают все хозяева, и все ошибаются.

Дом узнаёт о новом человеке не тогда, когда о нём объявят в кабинете, а раньше: на кухне, на чёрной лестнице, у колодца двора. И узнаёт не то, что ему скажут, а то, что увидит сам. В доме Велеховых всё уже было увидено. Матрёна в третьем часу ночи кормила высокого юношу в синей куртке пирогами и видела, что ест он не перекрестившись и ест так, как едят люди, давно не евшие домашнего. Дуняша, неся ему кипяток, разглядела в разрезе куртки череп с крыльями и полночи рассказывала о нём кучеру, а Ефим, человек трезвый, рассудил, что у господ из Гельсингфорса и не такое бывает. Тишка видел фольгу. А Прохор на рассвете, проходя мимо флигеля, увидел у порога обувь, белую, мягкую, на толстой подошве, и сделал с ней то, что за сорок лет делал с любой обувью, оставленной у порога этого дома. Хозяева решают, как будут называть человека. Прислуга решает, кем он будет. И решает почти всегда раньше хозяев, а ошибается гораздо реже.

Прохор вошёл и встал у двери, прямой, в жилете без часового кармана, с лицом, на котором, как всегда, не было ничего.

Велехов изложил ему первый пункт слово в слово.

— Слушаю-с, – произнёс Прохор. Помедлил. – Шведы-с.

Он сказал это так, как говорят о болезни, которой в доме ещё не было, но про которую слышали, что она не заразна.

— Шведы, – подтвердил Велехов. – И ещё, Прохор. Платье Николая Константиновича. Подберите Илье Дмитриевичу что найдётся.

Прохор молчал на полсекунды дольше, чем молчал всегда.

— Слушаю-с, ваше превосходительство.

* * *

Илья проснулся в одиннадцатом часу на кровати отца: одетый, поперёк, с ногами в шерстяных носках, свисавшими до полу. Проснулся разом, как просыпаются на новом месте, сел и несколько секунд смотрел на белёную печь, на икону в углу, на кошку на подоконнике, и лицо у него было такое, будто он ещё надеялся, что это сон. Потом увидел отца у стола. Надежда ушла с лица, и он стал похож на себя четырнадцатилетнего с паспортной фотографии: стриженного, испуганного вспышкой.

— Где мои кроссовки? – спросил Илья.

Ответ вошёл сам.

Прохор нёс их на вытянутых руках, на чистой салфетке, как носил в этом доме всё, что следовало подать с почтени-

ем: письма на подносе, шпагу его превосходительства, кулич от тётки. Кроссовки были чёрные. Они сияли. Вакса лежала на них ровно, в три слоя, отполированная бархоткой до зеркала, и в каждом носке отражалось окно флигеля. Белые полосы по бокам стали чёрными полосками. Только шнурки Прохор не тронул: шнурки остались белыми и торчали из этого блеска, как два вопроса.

Илья встал.

— Это чё? – выдохнул он очень тихо. – Это чё такое?

— Почищено-с, – доложил Прохор и поставил кроссовки у кровати носками к двери, как ставят сапоги на утро.

— Это «Адидас»! – Голос у Ильи сорвался вверх. – Это, типа, кожа! Вы их гуталином?!

— Ваксой-с, – с достоинством поправил Прохор. – Гуталином у нас мажут упряжь.

Илья посмотрел на отца. Корсаков стоял у стола и держал лицо так, как держал его однажды в Стамбуле, когда турецкий полицейский три минуты изучал его паспорт вверх ногами.

— Прохор, – выговорил Корсаков, когда смог. – Зачем?

Старый лакей выпрямился ещё больше, хотя больше, казалось, было некуда.

— Белое, сударь, надевают к венцу либо ко гробу, – изрёк он. – Илье Дмитриевичу ни туда, ни туда рано.

Во флигеле стало тихо. Кошка на подоконнике перестала умываться.

Илья открыл рот. Закрыл. Посмотрел на кроссовки, на Прохора, снова на кроссовки.

— Офигеть, — сказал он.

Прохор медленно повернул голову к Корсакову. Лицо его по-прежнему ничего не выражало, но в нём появилась вежливая просьба о переводе.

— Это по-шведски-с?

— По-гельсингфорски, — ответил Корсаков. — Значит: благодарю за заботу.

— Не за что-с, — сказал Прохор, поклонился Илье на полвершка и вышел.

Илья сел на кровать, взял кроссовок, повертел и понюхал.

— Скипидаром отойдёт, — утешил Корсаков. — Матрёна умеет.

— А шнурки?

— Шнурки он не тронул. Из уважения.

Илья поднял на него глаза, и Корсаков впервые за утро увидел, как у сына поджались губы: так поджимает их человек, который из последних сил не хочет смеяться, потому что смеяться сейчас нельзя. Он злится. Он устал. Он сто лет как не дома. Илья не засмеялся. Но злиться почему-то перестал.

III

Знаменская улица, столовая в доме Велехова. 26 апреля 1906 года, полдень.

Есть минуты, которых люди ждут месяцами, к которым готовятся, подбирают слова и представляют их себе во всех

подробностях. А когда минута наконец наступает, говорят о погоде, о соли и о том, что пирог сегодня удался. Главное слишком велико, чтобы сказать его между ухой и жарким, и по тому, как люди говорят о соли, можно понять больше, чем из любых признаний.

За столом у Велеховых в этот полдень говорили о соли.

Говорили о том, что ночью шёл дождь, а утром прояснилось; что Нева после ледохода ещё мутная; что Ефим опять жалуется на левую переднюю ногу Цыгана. Была среда, и Матрёна подала уху и кулебяку с вязигой.

Илью провели в столовую чёрной лестницей, через кухню, мимо Матрёны, которая перекрестила его поварёшкой, и через буфетную, где Дуняша прижалась к стене, пропуская его, как пропускают архиерея. Он сидел теперь напротив отца в Колиной фланелевой рубашке, рукава которой заканчивались на два вершка выше запястий, и в Колиных домашних туфлях, потому что кроссовки после Матрёниного скипидара сохли на заднем крыльце, серые, как ноябрьское небо над Обводным. Ел он быстро, наклонившись к тарелке и подпирая левой рукой щёку, и Прохор у буфета смотрел на этот локоть на скатерти, как смотрят на пожар в соседнем доме: беды пока нет, но может быть.

Велехов дождался, пока гость доест кулебяку. Положил вилку. Промокнул губы салфеткой.

— Илья Дмитриевич, — произнёс он.

Илья поднял голову.

— Ночью во втором дворе вы сказали одно слово. Григорий спросил у Дмитрия Сергеевича, что оно значит, и получил ответ, который его не удовлетворил. Утром, уходя в гимназию, он спросил меня, можно ли произносить это слово при инспекторе. — Велехов сложил салфетку вдвое. — Я обещал выяснить у автора. Вы сказали «офигеть». Поясните.

Лёля опустила глаза в тарелку. Плечи у неё стали очень неподвижными.

— Ну-у... — протянул Илья и посмотрел на отца. Отец смотрел в окно. — Это, типа... когда офигел.

— Это я понял, — кивнул Велехов. — Это тавтология. Дальше.

— Ну... обалдел. Типа, вообще.

— «Обалдеть» есть у Даля, — заметил Велехов. — Хорошо. Ещё.

— Ну, это... когда ты в шоке, короче.

— В чём?

Илья открыл рот и закрыл. Он искал слова, и Корсаков видел, как он их ищет: тянется за одним, за другим, а там пусто, будто протягиваешь руку к полке, где всю жизнь стояла книга, и нащупываешь голую доску. У сына был язык, на котором удобно жить в две тысячи шестом году. Объяснять на нём две тысячи шестой год было нечем.

— Константин Аркадьевич, — сказал Илья наконец, и у буфета звякнуло: Прохор поставил соусник мимо подноса. — Ну, это, типа, когда очень удивился. Вот прям очень. И ещё,

типа, обрадовался. Или испугался. Короче, по-всякому.

Велехов выдержал паузу. Длинную, сенатскую, такую, в которую на заседаниях успевали вспотеть тайные советники.

— Значит, «изумиться до крайности», – подвёл он итог. – С оттенком, который определяется обстоятельствами.

— Ну... да.

— Так и передам Григорию. И ещё одно. – Велехов чуть повернул голову к буфету. – Прохор, сколько?

Прохор, не меняя лица, разжал за спиной правую руку, на которой были загнуты все пять пальцев, и левую, на которой были загнуты четыре.

— Девять-с, ваше превосходительство. С «Константином Аркадьевичем».

— Чего девять? – не понял Илья.

— «Типа», – объяснила Лёля, не поднимая глаз от тарелки. Голос у неё дрожал. – Прохор считает. Папа велел. С утра.

Илья посмотрел на Прохора. Прохор смотрел в стену.

— Офигеть, как длинно, – вздохнул Илья. – «Изумиться до крайности».

Велехов снял пенсне.

— Вот теперь я понял, – признал он. И Корсаков впервые за всё знакомство увидел, как его превосходительство улыбается не одними глазами, а на целый миллиметр больше.

Ровно в полдень ударила пушка.

Звук пришёл с Невы через крыши, через колодцы дворов,

глухой, тяжёлый, без эха, и стёкла в буфете отозвались коротким звоном.

Илья вздрогнул всем телом. Вилка выпала у него из пальцев на тарелку. Он пригнулся, втянул голову в плечи и посмотрел на окно, потом на дверь, потом на отца.

Никто за столом не повернул головы.

Лёля доливала себе чаю. Велехов, не глядя, достал из жилетного кармана часы, щёлкнул крышкой, сверил стрелку, подвёл её на полделения и защёлкнул обратно. Прохор у буфета произнёс в пространство, как произносят «аминь»:

— Полдень-с.

И всё. Город сверил часы, и город жил дальше.

Илья медленно выпрямился. Правая рука у него сама пошла к нагрудному карману Колиной рубашки, хлопнула по нему, нашла пустое место и хлопнула ещё раз. Корсаков узнал этот жест. В октябре он сам полторы недели хлопал себя по пустому карману, пока рука не отучилась.

— Это... – выдавил Илья. – Это чё было?

— Пушка с Петропавловской крепости, – ответил Велехов. – Каждый день в полдень. По ней город ставит часы.

— Каждый день?

— Каждый.

Илья посмотрел на свою руку. Потом медленно положил её на скатерть ладонью вверх. Пустую.

IV

Знаменская улица, флигель. 26 апреля 1906 года, третий

час дня.

Лёля уехала в институт к двум: в клинике её ждали больные, и никакая помолвка, по её словам, не была уважительной причиной, чтобы больные ждали дольше. Тишку Матрёна забрала на кухню чистить картошку, и он ушёл, оглядываясь на рюкзак, как оглядываются на сундук с сокровищами.

Они остались вдвоём.

Впервые с того вечера на Соколе, шесть лет назад, отец и сын сидели вдвоём в одной комнате, и уйти им было некуда: ни на службу, ни в школу, ни к телефону, трубку которого можно положить. Флигель был маленький, натопленный, тихий. Ротмистровна спала на подоконнике. Со стороны Знаменской площади протяжно, на два голоса, загудел паровоз у Николаевского вокзала, и гудок долго стоял в воздухе, прежде чем растаять.

— Пушка у вас тоже стреляет, – сказал Корсаков. – В Питере. В две тысячи пятом я её слышал на Лиговском, из окна. Думал, салют.

— У нас? – Илья поднял голову.

— У нас. Та же. С того же бастиона.

Илья помолчал.

— Ну и чё, – отозвался он. – Мне от этого не легче.

Корсаков пересел к нему. Не на табурет, как утром, а на кровать, рядом, через рюкзак.

— Слушай меня, – сказал он. – Один раз. Здесь тебя нет. Ни в одной бумаге, ни в одной книге, ни в одном участке.

Человека, которого нет, нельзя защитить и нельзя найти, если он пропадёт. Есть люди, которые знали, что ты придёшь. Шестеро из них сидели ночью на мостовой со связанными руками. Тот, кто их послал, не простил сенатору ни одного слова и мне не простит. Если тебя возьмут, тебя не будут бить. Тебя будут спрашивать. Очень вежливо. О том, что будет летом.

Илья слушал, крутя в пальцах бегунок молнии, и Корсаков видел, что слушает он не слова, а голос: проверяет, врёт отец или нет и кого он сейчас защищает, сына или себя.

— Мама знает? — спросил Корсаков.

Молния пошла вниз. Вверх.

— Я записку оставил. На холодильнике. Что я в Питере, у Валеры. Что вернусь в воскресенье. И Валерин номер. Типа, если что.

Корсаков посчитал. Он считал это ещё ночью, в пролётке на Невском, но теперь цифры легли по-другому. Там сейчас суббота, тринадцатое мая. Записку Ирина нашла вчера вечером и, судя по тому, как Валера ночью осёкся на полуслове, уже звонила ему. Сегодня она будет набирать номер сына каждый час и слушать, что абонент недоступен. Завтра, в воскресенье, будет ждать до последней электрички. А в понедельник пойдёт писать заявление. Второе за полгода. На второго Корсакова.

— В понедельник она подаст тебя в розыск, — произнёс он вслух. — Ты понимаешь?

— А ты? — Илья поднял на него глаза. — Ты понимал? Когда сюда ушёл?

— Я не уходил. Я...

— Ты мне хоть раз сам позвонил? — Голос у Ильи стал низким и ровным, и это было хуже, чем если бы он кричал. — Я тебе каждое воскресенье звонил. Шесть лет. А ты: «нормально, работаю». Каждое воскресенье. «Нормально, работаю».

Корсаков молчал.

— Ты тоже говорил «нормально», — сказал он наконец.

— Потому что ты спрашивал «как дела».

Удар был короткий, без замаха. Корсаков его принял.

Илья отвернулся к окну.

— В полнолуние я домой, — объявил он. — Дед говорил, раз в месяц. Значит, через месяц.

— Отведу сам. — Корсаков встал. — До тех пор за ворота ни шагу.

— Ты меня запираешь?

— Я тебя прячу.

— А разница?

Корсаков не ответил. Ответить было нечем.

— Гришка сказал, ты ночью был там, — проговорил Илья, не оборачиваясь. — Во втором дворе. В два. С Валерой разговаривал.

— Был.

— Значит, было открыто. В два.

— Было.

— А меня сюда увезли. В полвторого. — Илья повернулся. — Я думал, на полчаса. Посмотрю, что ты живой, и обратно. Мама бы даже не узнала.

Корсаков посчитал это ещё на Пушкинской, стоя перед дрожащим воздухом, в котором смеялся Валера. Полчаса. Сын сидел тогда здесь, во флигеле, над Матрёнинскими пирогами, а дверь стояла открытой в трёх верстах. Он посчитал и решил этого сыну не говорить. Сын посчитал сам.

— Тебя увезли правильно, — сказал он. — Там было шестеро.

— Их связали.

— Связанных можно развязать.

Илья смотрел на него исподлобья, тем самым взглядом, и ничего не ответил. Правильных ответов он сейчас не слышал.

Потом, когда молчание стало слишком долгим даже для них двоих, Корсаков спросил о другом:

— Как это было? Когда шёл.

— Ну... — Илья пожал плечами. — Валера посадил. Ну, типа, в спину толкнул. Сначала как в бассейн прыгнул, в тёплый. Уши заложило, как в самолёте, когда садится. Паутина на лице, вот тут. — Он провёл ладонью по лбу. — Звон такой тонкий. И мокро. А потом дядька в мундире, с орденами, со шпагой и с лампой. Стоит и смотрит. Я думал, кино снимают. — Он помолчал. — А он говорит: «Здравствуйте, Илья

Дмитриевич». По отчеству. Мне.

— Он тебя ждал. Всю ночь.

— Я понял. Потом уже.

Корсаков сел обратно.

— В ноябре со мной там был человек, — заговорил он.
— Сторож с Новой Голландии, Пантелей. Большой, в тулупе. Он схватил меня сзади, и мы вошли вдвоём. Оба увидели ваш двор. «Девятку» под аркой. Красные буквы на стене. Где-то в форточке играл мобильник, и никто не брал трубку. Пантелей закричал, отпустил меня и убежал назад. А я остался стоять.

Илья смотрел на него не мигая.

— А если бы он тебя не отпустил?

Корсаков не ответил.

Он не знал. Двое вошли в кисель вместе, это было. Прошли бы они вдвоём насквозь, не проверял никто. Пантелей кричал по ночам на Пряжке и рассказать уже ничего не мог, а дверь ответов не давала: она только открывалась или не открывалась.

Вопрос повис между ними, и оба сделали вид, что его не было.

Илья полез во внутренний карман куртки, висевшей на спинке кровати, и достал телефон. Серебристую раскладушку, тонкую, с царапиной наискось по крышке. Открыл. Экран засветился синим, и кнопки под ним загорелись синими квадратиками, и в комнате с белёной печью, с иконой

в углу и кошкой на подоконнике это свечение было таким чужим, что Ротмистровна подняла голову и прижала уши.

Корсаков посмотрел на экран через плечо сына. «Нет сети». Заряд: три деления из четырёх. Часы: «Сб 13.05, 16:52». На два часа вперёд против часов Велехова, сверенных по пушке: Москва, летнее время. Суббота. Тринадцатое. Телефон не знал, где оказался, и честно жил по своему веку, а его век шёл там день в день и час в час, рядом, как поезд по соседнему пути.

Илья смотрел на экран дольше, чем нужно, чтобы прочесть «Нет сети». Что там, под часами, на заставке, Корсаков не видел: сын держал телефон к себе. Он не спросил.

Илья нажал красную кнопку и держал, пока экран не мигнул.

— Выключу, — сказал он. — Совсем. Чтоб на маму хватило.

Телефон сыграл короткую прощальную мелодию, три ноты вверх, и погас.

Во флигеле стало тихо. Так тихо бывает только в веке, где ничего не пищит, не мигает и не ждёт ответа.

V

Знаменская улица, флигель – кабинет Велехова. 26 апреля 1906 года, вечер.

К вечеру Илья уснул.

Уснул на походной кровати Николая Велехова, которую Прохор снял с антресолей, поставил у печки и застелил пофлотски, без единой складки, как застилал когда-то для дру-

гого. Илья спал на животе, свесив руку до полу, в рубашке с короткими рукавами, и во сне становился таким, каким Корсаков его помнил: маленьким, с приоткрытым ртом, со сжатым кулаком у щеки.

Гришка, вернувшийся из гимназии, сидел на лавке и смотрел на спящего с ревнивым почтением младшего, которому достался старший брат, хотя никто не спросил, нужен ли он ему. Тишка пристроился рядом с букварём и шёпотом спрашивал, как пишется «офигеть» и есть ли там ять.

— Через Гельсингфорс, – шёпотом же ответил Гришка. – Его превосходительство велели говорить «изумиться до крайности».

— Долго, – вздохнул Тишка.

— Зато прилично, – рассудил Гришка и вздохнул тоже.

В седьмом часу пришёл Лузгин.

Он вошёл тихо, как входил всегда, в котелке, с подвязанной рукой, посмотрел на спящего, на кровать, застеленную по-флотски, на чёрные кроссовки, которые Матрёна так и не отмыла до конца, и сел на лавку у двери.

— Отпустили, голубчик, – сказал он вполголоса, доставая кулёк. – Всех шестерых. В десятом часу утра. Новый, который вместо Евгения Платоновича, протокол прочёл, написал «за неимением состава» и подписал. Бродяжничество, говорит, это когда без паспорта. А у них паспорта были. Хорошие. – Он расколол семечку. – Все шесть выданы в один день, в одном участке. Я поглядел.

— Щеглов?

— Уехал. С утренним на Москву, оттуда на Тифлис. — Лузгин полез за пазуху и достал сложенный листок. — Мне на вокзале сунул. Для вас.

Записка была написана карандашом, наспех, на обороте вокзального бланка.

Г-ну Корсакову. Ужьзжаю. Шестерыхъ отпустятъ — это уже не мой составъ. Синяя папка остается въ отдѣленіи: увезти не имѣю права, съечь не имѣю совѣсти. Кому она достанется — знаете сами. Не сутультесь. Е. Щ.

Корсаков прочёл дважды. Сложил.

Синяя папка. Подписка «Высокий», «жалованье не назначать», его собственная подпись без твёрдого знака. Полгода Щеглов держал эту папку, как держал вчера под аркой револьвер: дулом вниз. Теперь она будет лежать в чужом шкафу и ждать чужой руки. Чьей, ротмистр не написал, потому что писать не требовалось.

Лузгин смотрел на спящего Илью.

— Похож, — негромко заметил он. — Спит, как вы. Кулак у щеки. Мой старший так спал. Пока в солдаты не ушёл. Потом перестал.

Он не объяснил, почему перестал, а Корсаков не спросил. Дверь флигеля приоткрылась. В щели появился Прохор.

— Его превосходительство просят, — доложил он. — В кабинет.

* * *

Велехов стоял у карты Европейской России, ещё в вицмундире, в котором ездил в Сенат, и смотрел на неё так, будто карта висела криво, хотя она висела ровно.

— Государь подписал, — сказал он, не оборачиваясь. — Министр внутренних дел — Столыпин. Пётр Аркадьевич, саратовский губернатор. В газетах будет завтра, а в Сенате уже знают: в Сенат новости приходят раньше газет и уходят позже.

Корсаков стоял у двери.

Он знал эту фамилию с той ночи в поезде из Белоострова, когда листал тетрадь в сафьяне и дошёл до строки о новом министре. Знал её с училища, с учебника, с экзамена, где надо было назвать годы и реформы. Но знать и слышать оказалось не одно и то же. Сегодня утром, пока Илья спал поперёк его кровати, а Прохор чистил ваксой кроссовки, человек сорока четырёх лет получил министерский портфель и, вероятно, ещё не успел устать от поздравлений. А под аркой Новой Голландии, в синем свете поднимающейся воды, мягкий профессорский голос сказал прошлой ночью: «Сегодня утром назначат министра. Запомните, полковник. Киев. Театр. Через пять лет».

Он запомнил.

— Вы знали, — сказал Велехов. Не спросил.

— Знал.

— И что вы знаете о нём ещё?

Корсаков помедлил.

— Я знаю, чем у него всё закончится, ваше превосходительство. Это не то же самое, что знать человека.

Велехов повернулся. Посмотрел на него поверх пенсне долго, тем взглядом, каким в Сенате смотрел на бумагу, прежде чем решить, подписывать её или нет.

— Хорошо. — Велехов кивнул. — Значит, будем узнавать.

Он подошёл к столу. На столе, на краю, под прямым углом к нему, лежал плотный конверт с гербом и золотым обрезом.

— Завтра в Зимнем государь принимает Государственный совет и Думу. Сенаторов приглашают. — Велехов надел пенсне. — Вы едете со мной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.